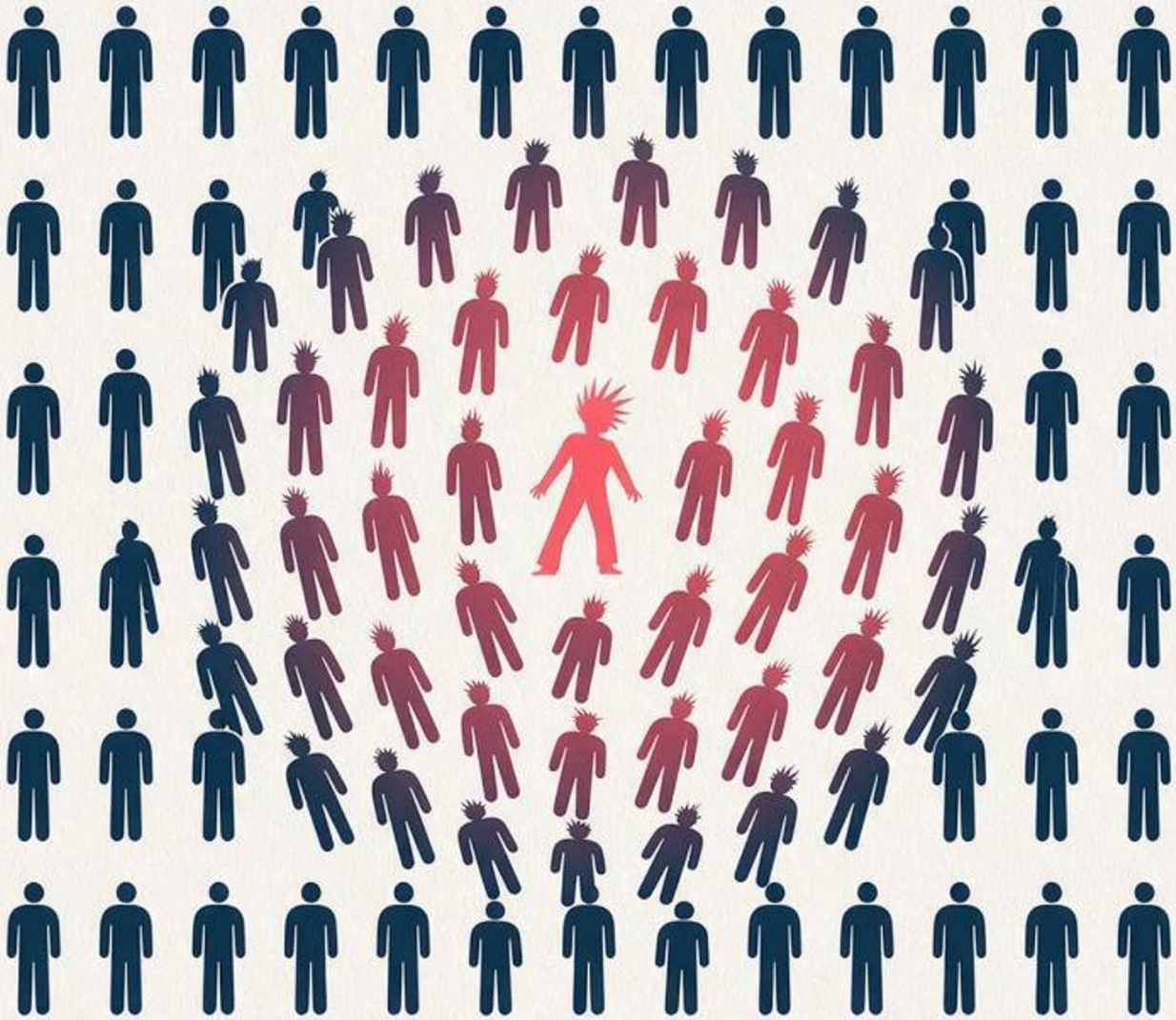
ДОКТОР ПЁТР СОЙФЕР

ПРАВО НА СТРАННОСТЬ

Как отклонение движет эволюцию культуры



Петр Сойфер

Право на странность

«Автор»
2026

Сойфер П.

Право на странность / П. Сойфер — «Автор», 2026

Как отклонение движет эволюцию культуры. В пятидесятые годы комсомольские патрули прямо на улице разрезали ножницами узкие брюки стиляг. Через десять лет такие брюки стали массовой модой. Почему власть так боится чужой причёски, слишком яркого платья, неправильно повязанного платка? И почему то, что вчера было вызовом, завтра продаётся в каждом универмаге?Эта книга — путешествие по истории «странных» людей. В ней татуированные изгои древности и денди XIX века, панки с английскими булавками, японские подростки на мосту Харадзюку, иранские женщины, снимающие платок на глазах у полиции. За каждой такой историей стоит одна и та же драма: общество требует быть «как все», а человек отказывается. Автор, психиатр и психотерапевт, показывает, что отклонение — не сбой системы, а её двигатель. Общество, которое отрезает всё непохожее, не обретает покоя. Оно просто перестаёт меняться.

© Сойфер П., 2026
© Автор, 2026

Петр Сойфер
Право на странность

Доктор Пётр Сойфер
ПРАВО НА СТРАННОСТЬ
Как отклонение движет эволюцию культуры
2026

Введение

Если человек не шагает в ногу со своими спутниками, быть может, это потому, что он слышит другого барабанщика.

— Генри Дэвид Торо, «Уолден» (1854)

Ножницы

Москва, середина пятидесятых. Вечер на улице Горького, которую молодёжь между собой называет «Бродвеем». По тротуару неторопливо идёт парень лет девятнадцати. На нём узкие брюки-дудочки, туфли на толстой каучуковой подошве, пиджак с широкими накладными плечами. Над лбом поднимается кок, уложенный бриолином. Галстук расписан пальмами и обезьянами, и прохожие оборачиваются ему вслед.

У гастронома его останавливают трое с красными повязками на рукавах — комсомольский патруль. Документы, пара вопросов, короткий смешок. Потом один из патрульных достаёт из кармана ножницы. Через минуту штанины распороты по шву до колена, кок острижен неровным клоком, галстук разрезан пополам. Парень стоит посреди улицы, и вокруг собирается небольшая толпа. Кто-то смеётся. Кто-то отворачивается.

Ещё в 1949 году журнал «Крокодил» напечатал фельетон «Стиляга», и слово мгновенно стало ярлыком. Стилягу высмеивали в карикатурах, прорабатывали на собраниях, исключали из комсомола и из институтов. Ножницы в кармане патрульного были лишь самым наглядным инструментом.

Этот жест старше советской власти и пережил её. В Японии эпохи Токугава сёгунат раз за разом запрещал купцам носить шёлк. Купцы отвечали по-своему: снаружи кимоно оставалось скромным, а роскошная ткань уходила на подкладку.

Но ножницы не стали музейным экспонатом. Они работают и сегодня.

В декабре 2020 года Северная Корея приняла закон «Об отвержении реакционной идеологии и культуры»[1]. «Реакционным» он объявляет прогнившую культуру враждебных сил и всё «нездоровое и чужеродное», что не соответствует «нашему стилю». Высшая мера по этому закону — смертная казнь за распространение южнокорейских фильмов и музыки. Следом появились закон о воспитании молодёжи 2021 года и закон о защите пхеньянского языка 2023 года, карающий даже за южнокорейские словечки.

На улицах этот закон исполняют патрули Социалистического патриотического союза молодёжи, устроенного по образцу советского комсомола. Весной 2022 года, по сведениям Радио Свободная Азия, патрули задерживали юношей и девушек с длинными или крашенными в каштановый цвет волосами, в одежде с крупными иностранными надписями. Особенно доставалось молодым женщинам в обтягивающих брюках[2]. Задержанных оставляли ждать у обочины, пока патруль не закончит обход, затем вели в районный штаб союза писать покаянное письмо. О проступке сообщали на работу. Через семьдесят лет после московских стиляг узкие брюки снова оказались под запретом — в другой стране, но под тем же предлогом.

В Иране платок обязателен для женщин и девочек старше девяти лет с 1981 года[3]. В сентябре 2022 года Махса Амини, задержанная патрулём нравов за «неправильно» надетый

хиджаб, умерла под стражей, и страну охватили многомесячные протесты. Патрули на время исчезли с улиц, но уже в июле 2023 года полиция объявила об их возвращении. С тех пор власть то усиливает надзор, то отступает. Она давит на магазины, кафе и университеты, ставит камеры. Но вернуть прежнюю систему целиком так и не решилась, как не решилась и отменить обязательный платок[4]. А на улицах Тегерана всё больше женщин с непокрытой головой. Прядь волос стала политическим высказыванием.

Монархии Персидского залива действуют тоньше. Саудовская Аравия в 2016 году лишила религиозную полицию права на аресты, а в 2019 году, открывая страну для туристов, ввела кодекс общественной благопристойности. Кодекс штрафует за «неприличную» и обтягивающую одежду, за надписи и рисунки, оскорбляющие нравы[5]. Мужчину в женском платье, попавшего на видео в общественном транспорте Эр-Рияда, теперь задерживает обычная полиция. В Кувейте с 2007 года действовала статья уголовного кодекса о «подражании противоположному полу», и по ней сажали трансгендерных женщин. В феврале 2022 года Конституционный суд отменил статью как слишком расплывчатую[6]. Депутаты-исламисты назвали решение позорным и вскоре внесли проект новой редакции, уже с тремя годами тюрьмы[7].

И, наконец, в обычной квартире любого города мира отец говорит сыну: «Пока не подстрижёшься, из дома не выйдешь».

Разные эпохи, разные режимы, разные масштабы. Но жест один: отрезать лишнее и вернуть человека к норме. Эта книга о том, что именно отрезают, почему оно каждый раз отрастает снова и что становится с обществом, где отрезать больше нечего.

Почему власть любит одинаковых

Любой системе управления — государству, церкви, армии, корпорации — выгодна однородность. Одинаковых людей проще пересчитать, проще предсказать и проще направить. Униформа, устав, школьная программа, типовой дом и типовая песня экономят силы на контроль. Чем меньше в обществе отклонений, тем дешевле им править.

Но у этой экономии есть цена, и платят её не сразу. Общество, где все думают, одеваются и чувствуют одинаково, теряет способность отвечать на новое. Биология знает этот закон давно: вид без внутреннего разнообразия беззащитен перед первой же переменой среды. Отбору просто не из чего выбирать. С культурой происходит то же самое. Полный конформизм похож на анабиоз: система не умирает, но и не живёт.

В 1904 году немецкий социолог Георг Зиммель заметил, что мода существует благодаря двум противоположным желаниям[8]. Человек хочет быть как все, чтобы чувствовать опору группы. И одновременно хочет отличаться, чтобы оставаться собой. Мода живёт в зазоре между подражанием и отличием, и этот зазор никогда не закрывается окончательно.

Эта книга берёт мысль Зиммеля и доводит её до конфликта. Власть давит в сторону подражания. Человек сопротивляется отличием. И чаще всего первое сопротивление выражается не в манифесте, а во внешности: в длине волос, в ширине штанин, в цвете стены, в неправильном аккорде. Слово можно подвергнуть цензуре до того, как его произнесут. Яркий галстук на улице видят все, и видят сразу.

Поэтому «мода» здесь понимается широко. Это и костюм, и архитектура, и музыкальный строй, и манера говорить, и форма романа. Любой способ, которым человек или группа заявляет о себе через форму, может оказаться высказыванием. А при диктатуре он часто остаётся единственным доступным.

Первая униформа

Столичный патруль с ножницами был не первым, с кем столкнулся наш стиляга. Задолго до улицы Горького с ним разговаривали дома. Сначала мать перешивала ему брюки и молча возвращала на место. Потом отец за ужином спросил, в кого он такой вырос. И наконец прозвучала фраза, знакомая почти каждому подростку: «Что люди скажут?»

Семья — первое государство в жизни человека. У неё есть своя конституция («у нас так не принято»), свой дресс-код, своя цензура и своя дипломатия с внешним миром. Родители редко видят в себе проводников всеобщей одинаковости. Они просто хотят, чтобы ребёнку было безопасно, а безопаснее всего быть как все. Но именно дома человек впервые узнаёт, что его вкус может оказаться проступком.

В ноябре 1919 года Франц Кафка написал отцу письмо больше чем на сотню страниц. Письмо так и не дошло до адресата: Кафка отдал его матери, и та вернула конверт сыну. В письме сын вспоминает, как отец обходился с его друзьями. Об актёре еврейского театра Ицхаке Лёви отец сказал, что кто ложится с собаками, встаёт с блохами. Для властного Германа Кафки сомнительный друг был чем-то вроде неправильного галстука: знаком того, что сын уходит из-под его закона.

Второе общество приходит со школой. Класс — первый коллектив без родителей, и законы в нём устанавливают сами дети. В 1998 году американский психолог Джудит Рич Харрис выпустила книгу, всколыхнувшую возрастную психологию[9]. Харрис доказывала, что сверстники формируют ребёнка сильнее, чем принято думать, порой сильнее родителей. Дети иммигрантов говорят с акцентом одноклассников, а не с акцентом отца и матери.

У детской группы есть своя униформа, даже там, где школьной формы нет: правильный рюкзак, правильная игра, правильные слова. И есть своя полиция. Норвежец Дан Ольвеус, изучавший травлю в школах с семидесятых годов, описал её как повторяющееся насилие сильного над слабым[10]. Но кого выбирают слабым? Очень часто того, кто просто отличается: внешностью, одеждой, речью, увлечениями. Буллинг оказывается древнейшим механизмом выравнивания, ножницами в детских руках.

У ребёнка, попавшего под такое давление, по сути три пути. Можно мимикрировать: стать как все и спрятать себя. Можно найти своё маленькое «племя» таких же непохожих. А можно сделать отличие демонстративным, превратить мишень в знамя. Из этого третьего пути и вырастает почти всякая субкультура, о которой пойдёт речь дальше. Будущий панк, гот или лолита сначала был просто странным ребёнком в классе.

Запрет, табу, присвоение

Лондон, 1977 год. Королева празднует серебряный юбилей правления, а Sex Pistols выпускают сингл «God Save the Queen». Би-би-си отказывается его транслировать. В магазине на Кингс-роуд, принадлежащем Вивьен Вествуд и Малкольму Макларену, продают рваные футболки, кожу с ремнями и заклёпками, вещи, скреплённые английскими булавками. Булавка — самая дешёвая вещь в доме, и в этом её вызов. Булавкой скрепляют разорванное, будто говоря: мы не станем чинить то, что вы сломали.

Семнадцать лет спустя, в мае 1994 года, актриса Элизабет Хёрли выходит на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в чёрном платье Versace. Глубокие разрезы платья схвачены крупными золотыми булавками. Наутро снимки обходят все газеты. Знак бунта стал предметом роскоши.

Между этими двумя кадрами укладывается вся механика, ради которой написана книга. Власть отвечает на непокорную форму в три приёма. Сначала она запрещает и преследует: ножницы, исключение, тюрьма. Если запрет не помогает, форма становится табу и уходит в подполье, где обрастает тайным смыслом и собственными ритуалами. А затем наступает третья стадия, самая тихая и самая действенная: присвоение. Протестный знак покупают, отмывают от смысла и продают обратно, уже как товар.

Британский социолог Дик Хебдидж описал этот процесс ещё в 1979 году[11]. Субкультуру, по его словам, обезвреживают двумя путями. Её символы превращают в массовый товар. А её носителей объявляют либо безобидными чудаками, либо экзотическими чужаками, что в итоге одно и то же: им отказывают в праве на высказывание.

Присвоение выглядит поражением бунтаря, но всё сложнее. Пройдя этот путь, протестная форма меняет сам канон. Узкие брюки, за которые резали штанины в пятидесятые, через десяток лет стали обычной мужской модой. Джинсы, проклятые родителями, носят их внуки. Культура обновляется именно так, за счёт тех, кого она сначала пыталась вытолкнуть за порог. А человек, увидевший свой знак на витрине, уходит искать новую точку сопротивления. И цикл начинается заново.

Семь осей

Чтобы сравнивать стилягу с конголезским сапёром из Браззавиля, а катара с японской лолитой, нужен общий язык. Таким языком в этой книге служит Матрица семи осей, инструмент, разработанный мной вместе с доктором Игорем Сальгаником для клинической работы[12]. Матрица описывает, где человек особенно чувствителен и какие внутренние силы движут его поведением.

Первая ось — **статус**: кто наверху и по каким знакам это видно. Вторая — **нормы**: что разрешено, что запрещено и кто это решает. Третья — **страх и угроза**: чего человек боится и как от этого защищается. Четвёртая — **привязанность**: к кому он прирастает, семье, народу или «племени». Пятая — **рутина**: насколько ему нужна предсказуемость и ритуал. Шестая — **оценка энергии**, субъективное ощущение того, есть ли у тебя силы жить по-своему. Седьмая — **качество референтных групп**: чьим мнением человек измеряет себя и бережёт ли его эта группа или калечит.

Для эстетического бунта эти оси работают как сейсмограф. Пуританская Англия давит по оси норм, сталинская архитектура — по оси статуса, школьная травля — по оси референтных групп. Бунтарь отвечает на давление чаще всего не там, где давят. Чем жёстче система держит нормы и иерархию, тем рискованнее и расточительнее становится ответ: в нём больше вызова опасности и больше избыточной, почти праздничной энергии. Эту закономерность читатель будет встречать в каждой главе.

Как устроена книга

Книга движется от частного к общему и от прошлого к настоящему.

Первый раздел вводит понятия: почему системы тяготеют к однородности, что считать модой и как работает Матрица. Второй раздел начинает с самого малого общества, с семьи и школьного класса, где каждый из нас впервые встречает ножницы. Третий уходит в архаику и Средневековье, к татуировке, законам о роскоши и визуальной ереси.

Четвёртый раздел посвящён диктатурам, религиозным и политическим. Там прямое слово запрещено, и протест уходит в шифр: в изнанку одежды, в эзопов язык, в джаз за закрытыми дверями. Пятый прослеживает западную линию — от денди до панка. Шестой переносится в Японию, где на мостике у станции Харадзюку десятилетиями собирались подростки в нарядах, немыслимых для офиса их родителей. Седьмой охватывает Африку, Латинскую Америку и цифровую эпоху, в которой роль патруля с ножницами всё чаще играет алгоритм.

Последний раздел возвращается к главному вопросу. Что станет с обществом, где отрезать больше нечего? Если ответ этой книги верен, такое общество не обретёт покоя. Оно просто перестанет меняться.

Раздел I. Методология: философия протеста и семиотика формы

Глава 1. Конформизм как биологический и социальный анабиоз

Всякий раз, когда вы обнаруживаете, что оказались на стороне большинства, пора исправляться — или остановиться и подумать.

— Марк Твен, записная книжка (1904)

Три линии на карточке

Суортмор, Пенсильвания, начало пятидесятых. В небольшой аудитории колледжа за столом сидят восемь студентов. Им сказали, что они участвуют в исследовании зрительного восприятия. Экспериментатор показывает две карточки. На левой одна вертикальная линия, на правой три линии разной длины. Нужно назвать, какая из трёх равна эталону. Задача настолько проста, что в одиночку люди ошибаются меньше чем в одном случае из ста.

Отвечают по очереди, вслух. Первые две пробы проходят спокойно. На третьей первый студент уверенно называет неверную линию. Второй повторяет ту же ошибку. Третий тоже. Студент, сидящий предпоследним, начинает ёрзать и переводит взгляд с карточек на соседей и обратно. Главного он не знает: все остальные за столом — помощники экспериментатора, заранее получившие инструкцию ошибаться.

Соломон Аш, американский психолог, уехавший подростком из Варшавы, провёл эту серию опытов в 1951 году[1]. Результат удивил его самого. Примерно в трети критических проб испытуемые соглашались с явно неверным ответом группы. Три четверти участников хотя бы раз поддались давлению. И лишь каждый четвёртый ни разу не уступил.

В беседах после опыта выяснилось, что уступали по-разному. Одни действительно начинали сомневаться в собственных глазах: раз все видят иначе, наверное, ошибаюсь я. Другие видели правильный ответ, но не хотели выделяться. Они не верили группе, они её боялись. Именно эта вторая категория интересна для нашей книги. Человек знает, какого цвета его галстук на самом деле, но надевает серый.

Опыт Аша повторяли сотни раз. В 1996 году британские психологи Род Бонд и Питер Смит свели вместе 133 исследования из 17 стран[2]. Выяснились две закономерности. В США уровень конформизма с пятидесятых годов заметно снизился. А в культурах, где ценится принадлежность к группе больше, чем личная независимость, люди уступали чаще. Давление группы оказалось величиной непостоянной: ослабляют или усиливают его воспитание, традиция и власть. Правда, у метаанализа есть слабое место: число исследований по странам было неравным. Американских работ в выборке было 79, а французских и фиджийских — по две. Поэтому цифры по отдельным странам стоит читать как направление, а не как приговор.

Лес, который удобно считать

В конце XVIII века прусские и саксонские лесничие решили навести в лесу порядок. Для казны лес был источником древесины, а древесину нужно было считать. Настоящий лес считать неудобно: в нём перемешаны породы и возрасты, подлесок, валежник, грибы, звери, тропы крестьян. Учёные лесоводы придумали «нормальное дерево», стандартную единицу для таблиц. А затем стали сажать лес, похожий на таблицу.

Подлесок вычистили. Сухостой вывезли. Высадили одну породу, чаще всего ель, ровными рядами, одного возраста. Такой лес легко обойти, измерить и вырубить. Первое поколение дало прекрасный урожай древесины. Второе начало болеть: обеднела почва, расплодились вредители, деревья стали гибнуть. Позднее для подобной беды в немецком языке закрепилось особое слово — Waldsterben, «умирание леса».

Американский политолог Джеймс Скотт открывает этой историей свою книгу «Благими намерениями государства»[3]. Ключевое понятие Скотта — «читаемость». Государству нужно видеть подданных так же ясно, как лесничему — ряды елей. Поэтому государство вводит постоянные фамилии, единые меры веса, кадастровые карты, прямые улицы. Каждое такое упрощение по отдельности разумно. Но вместе они превращают живое общество в удобную для учёта плантацию.

Это и есть экономика конформизма. Одинаковых людей проще переписать, проще обложить налогом, проще призвать в армию. Непохожий человек дорог: его нужно отдельно понимать, отдельно убеждать, отдельно контролировать. Любая власть, от королевского двора до

школьного завуча, стремится снизить эти расходы. Самый дешёвый способ — сделать так, чтобы непохожих не было.

Иногда это стремление становится буквальным. В 2013 году столица Туркменистана Ашхабад попала в Книгу рекордов Гиннесса: 543 здания, облицованных белым мрамором, — больше, чем в любом другом городе мира. Президент Гурбангулы Бердымухамедов считал белый цвет счастливым[4]. В 2014 году жителей обязали снять с фасадов кондиционеры, портившие вид. Год спустя таможня перестала пропускать в страну чёрные автомобили. А в январе 2018 года полиция Ашхабада начала забирать на штрафстоянки машины тёмных и ярких цветов. Владелец получал машину назад, только подписав обещание перекрасить её в светлый цвет[5].

Город превратился в ту самую еловую плантацию, только из мрамора и автомобильной краски. Красиво, читаемо, однородно. И, как показывает история саксонского леса, опасно.

Цена одинаковости

Биология давно знает, чем кончается однородность. Самый горький пример находится совсем рядом с историей Европы.

К середине XIX века миллионы ирландских бедняков питались почти исключительно картофелем. Сажали в основном один сорт, «лампер», урожайный и неприхотливый. Картофель размножают клубнями, поэтому каждое поле было, по сути, колонией генетических копий одного растения. Летом 1845 года из Америки в Европу попал фитофтороз, болезнь, вызываемая водорослеподобным микроорганизмом Phytophthora infestans. Против неё у «лампера» не было защиты. А раз защиты не было у одного куста, её не было ни у одного. За несколько лет голода в Ирландии умерло около миллиона человек, ещё больше миллиона эмигрировало.

Сто лет спустя история повторилась с бананом. До пятидесятых годов XX века мировой рынок держался на сорте «Гро-Мишель». Бананы тоже размножают отростками, и каждая плантация была клоном. Грибковая «панамская болезнь» прошла по плантациям Центральной Америки и практически уничтожила сорт в промышленном масштабе. Его заменил «Кавендиш», устойчивый к той форме болезни. Сегодня почти все бананы в магазинах мира — «Кавендиш», и с конца прошлого века по плантациям расползается новая разновидность того же грибка. Урок однородности так и не выучен.

Природа сама иногда загоняет вид в эту ловушку. У гепардов генетическое разнообразие так мало, что в 1985 году американский генетик Стивен О'Брайен с коллегами провёл поразительный опыт[6]. Исследователи пересаживали кожу от одного гепарда другому, неродственному. У большинства млекопитающих такой лоскут отторгается. У гепардов он приживался, будто животные были однояйцевыми близнецами. Где-то в прошлом вид прошёл через «бутылочное горлышко», сократился до горстки особей, и все нынешние гепарды — их почти одинаковые потомки. Для вида это постоянная уязвимость: болезнь, к которой не готов один, застанет врасплох всех.

А вот бактерии нашли противоположное решение. Ещё в 1944 году ирландский врач Джозеф Биггер заметил, что пенициллин убивает почти всю культуру стафилококка, но не всю. Крошечная доля клеток выживала. В 2004 году группа Натали Балабан показала, как это устроено[7]. В любой бактериальной колонии небольшая часть клеток без всякой видимой причины впадает в спячку. Эти «персистеры» ничем не полезны в спокойное время: не растут, не делятся и выглядят неудачниками. Но когда приходит антибиотик, гибнут именно усердные и правильные. Колонию возрождают «бездельники».

Эволюционные биологи называют такую стратегию распределением рисков. Популяция, где все одинаковы, ставит всё на одну карту. Популяция с отклонениями держит запасные ответы на вопросы, которых среда ещё не задала. Отклонение здесь не болезнь и не каприз, а страховой полис.

Один несогласный

Вернёмся в аудиторию Суортмора. Аш поставил ещё один вариант опыта: среди подставных участников теперь был один «союзник», дававший правильный ответ. Всего один человек из семи. Этого хватило, чтобы доля уступок упала примерно в шесть раз. Испытуемый больше не был один против всех. Ещё любопытнее оказалось другое. Даже если несогласный отвечал неверно, но иначе, чем большинство, давление тоже ослабевало. Важна была не правота союзника, а сам факт, что единодушие нарушено[8].

Спустя почти двадцать лет французский психолог Серж Московичи перевернул вопрос Аша. Аш спрашивал, как большинство подавляет одиночку. Московичи спросил, может ли меньшинство повлиять на большинство.

В 1969 году Московичи показывал группам из шести человек слайды разной яркости, все синего цвета[9]. Двое участников были подставными и упорно называли синий цвет зелёным, раз за разом. Остальные четверо поначалу недоумевали. Но к концу опыта они сами называли слайды зелёными примерно в восьми случаях из ста. В контрольных группах такое случалось в четверти процента случаев. Когда подставные называли цвет зелёным лишь через раз, их влияние почти исчезало. Меньшинство убеждало не числом и не силой, а последовательностью.

В этом опыте спрятан механизм всей истории, о которой пойдёт речь в книге. Один странно одетый человек на улице вызывает смех. Тот же человек, упорно появляющийся в своём наряде день за днём, вызывает сначала раздражение, потом любопытство. А когда к нему присоединяются ещё двое, большинство начинает сомневаться в собственной норме. Так узкие брюки стиляг стали нормой через десять лет, так панковская булавка оказалась на платье Versace.

Власть хорошо понимает этот механизм, даже не читая Московичи. Поэтому она преследует не столько массу недовольных, сколько первого несогласного. Немецкий социолог Элизабет Ноэль-Нойман описала в 1974 году «спираль молчания»[10]. Люди, считающие своё мнение непопулярным, замолкают. Их молчание делает мнение ещё менее заметным, и замолкают следующие. Ножницы патрульного нужны не для того, чтобы наказать одного стилягу. Они нужны, чтобы сотня других не решилась выйти в узких брюках.

Боль изгнания

Почему же студенты Аша, видевшие правильный ответ, так часто молчали? Ведь за несогласие им ничего не грозило: ни ножниц, ни исключения, ни тюрьмы. Только неловкие взгляды семи незнакомцев.

Ответ лежит глубже, чем кажется. Сотни тысяч лет человек жил небольшими группами охотников и собирателей. Одиночка в саванне или в ледниковой тундре был почти обречён: некому разделить добычу, некому предупредить об опасности, не с кем отбиться от хищника. Изгнание из группы означало смерть, отсроченную на несколько недель. Отбор безжалостно поощрял тех, кто чутко улавливал недовольство соплеменников и вовремя подстраивался.

Древние афиняне превратили этот страх в политический институт. Раз в год граждане могли провести остракизм: каждый писал на глиняном черепке имя того, кого считал опасным для полиса. Если голосов набиралось достаточно — по самому распространённому толкованию, не меньше шести тысяч, — человек с наибольшим числом черепков уходил в изгнание на десять лет. Имущество за ним сохранялось, вины суд не доказывал. Его просто убирали из общего пространства. Для грека, мыслившего себя только частью полиса, это было тяжелее многих наказаний.

В 1995 году американские психологи Рой Баумайстер и Марк Лири собрали доказательства того, что потребность принадлежать к группе — одна из базовых потребностей человека, сравнимая с голодом[11]. А в 2003 году Наоми Айзенбергер с коллегами показала, где эта потребность живёт в мозге[12]. Испытуемый в томографе играл в простую компьютерную игру «Кибербол»: три фигурки перебрасывают друг другу мяч. Через несколько бросков два других игрока, на самом деле программа, переставали отдавать ему мяч. Только и всего: игрушечное

исключение незнакомыми людьми. Но у исключённого активировалась передняя поясная кора — та же область, что участвует в переживании физической боли. Чем сильнее она возбуждалась, тем больнее, по словам испытуемых, им было. Метафора «душевной боли» оказалась почти буквальной.

Другой американский нейробиолог, Грегори Бернс, в 2005 году повторил опыт Аша внутри томографа[13]. Испытуемые сравнивали трёхмерные фигуры, а подставная группа иногда давала неверный ответ. Когда человек уступал группе, изменялась активность в зрительных и теменных областях, отвечающих за само восприятие. Группа, похоже, меняла не только ответ, но и то, что человек видел. А когда испытуемый всё же держался своего мнения, активировалась миндалина, один из центров тревоги. Независимость имела эмоциональную цену, и мозг её честно выставлял.

В Японии есть пословица: «Торчащий гвоздь забивают». Её знает каждый японский школьник, и мы ещё встретимся с ней в главах о Харадзюку. Но пословица говорит только о молотке. Опыты Айзенбергер и Бернса говорят о большем: гвоздь заранее чувствует удар и часто сам уходит в доску.

В Матрице семи осей этот механизм описывает ось «Страх и угроза». Страх изгнания — один из древнейших страхов человека, и он работает в паре с седьмой осью, «Качеством референтных групп». Чем важнее для человека группа и чем меньше у него других опор, тем легче ему отказаться от собственного галстука. Психотерапевты хорошо знают обратную сторону этой закономерности. Человек, нашедший хотя бы одну поддерживающую группу, становится заметно смелее и в остальной жизни. Как испытуемый Аша, которому достался союзник.

Голод по другим

Страх изгнания так силён потому, что у него есть изнанка: голод по другим людям. Этот голод можно измерить почти так же точно, как голод по еде.

В конце пятидесятых американский психолог Гарри Харлоу провёл опыты, ставшие хрестоматийными и сегодня кажущиеся жестокими[14]. Детёнышей макак-резусов отнимали от матерей и помещали в клетку с двумя «суррогатами». Один был сделан из проволоки и снабжён бутылочкой с молоком. Другой был обтянут мягкой тканью, но молока не давал. Логика того времени утверждала, что привязанность вырастает из кормления. Детёныши опровергли её за несколько дней. Они подбегали к проволочной матери поесть и тут же возвращались к тканевой. При испуге бросались именно к ней.

Дальше Харлоу пошёл туда, куда сегодня не пустил бы ни один этический комитет. Детёнышей растили в полной социальной изоляции, по полгода и дольше[15]. Оказавшись среди сородичей, детёныши раскачивались, обнимали сами себя, забивались в угол. Играть они не умели, чужих сигналов не понимали, а став взрослыми, нередко жестоко обращались с собственными детёнышами. Еды, воды и тепла им хватало. Не хватало других.

У людей этот голод утоляется иначе, чем у обезьян, и здесь начинается история, важная для нашей книги. Британский антрополог Робин Данбар заметил, что шимпанзе поддерживают связи грумингом: часами перебирают друг другу шерсть[16]. Но груминг работает только один на один. Человеческие группы крупнее. Данбар подсчитал: чтобы поддерживать их обезьяньим способом, людям пришлось бы тратить на груминг почти половину светового дня. Значит, людям понадобился «груминг на расстоянии», способ связывать многих сразу. Данбар называет смех, совместную трапезу и прежде всего общий ритм: пение, танец, движение в такт.

В 2015 году его сотрудники Бронвин Тарр, Жак Лоне и коллеги проверили эту идею[17]. Участники танцевали, одни синхронно, другие вразнобой, с большой или малой нагрузкой. До и после танца измеряли болевой порог, косвенный признак выброса эндорфинов. Нагрузка повышала порог, как и ожидалось. Но синхронность давала собственную прибавку, независимо от нагрузки. Люди, двигавшиеся в такт, к тому же сильнее ощущали близость к партнёрам по танцу. Ещё раньше, в 2009 году, Скотт Вилтермут и Чип Хит из Стэнфорда показали,

что после совместного пения или ходьбы в ногу люди охотнее жертвуют личной выгодой ради группы[18].

Общий ритм — древнейший клей человеческого сообщества. Антрополог Виктор Тёрнер называл переживание, возникающее в ритуале, communitas: чувство единства, растворяющее границы и роли[19]. Для изгнанника, для подростка, оставшегося вне круга, это переживание — именно то, чего ему мучительно не хватает.

Но у клея есть и другое применение. Любая власть рано или поздно обнаруживает, что синхронность можно поставить на службу. Строевой шаг, парад, гимн, который не слушают, а поют все вместе, массовые физкультурные праздники. В Пхеньяне на стадионе «Первое мая» годами проходили массовые игры «Ариран», где десятки тысяч человек двигались как единый организм, а школьники на трибунах складывали из цветных листов гигантские картины. В 2007 году Книга рекордов Гиннесса признала это зрелище крупнейшим гимнастическим представлением в мире. Здесь «груминг на расстоянии» превращается в дрессировку на расстоянии.

Скотт Вилтермут проверил и эту сторону в 2012 году[20]. Участники сначала шли или двигались синхронно с экспериментатором, а потом получали странное задание: бросать живых насекомых в устройство, похожее на мясорубку. На деле насекомые не погибали, но испытуемые этого не знали. Те, кто перед этим двигался в такт, выполняли приказ охотнее. Синхронность сплачивает, но она же делает послушнее.

Психотерапевтам знакома и обратная, тихая сторона голода. Женщина сорока лет, назову её Н., пришла с жалобой на «невидимость» в любой группе: на работе, в семье, среди друзей. Спорт давался ей тяжело, на праздниках она сидела в стороне, любая общая затея вызывала тревогу. Всю жизнь она искала принадлежности через слова, и слов всегда не хватало. В группе двигательной терапии, после нескольких занятий, она впервые описала чувство, что её «наконец-то увидели — без слов»[21].

В этой истории сходятся две оси Матрицы. Ось «Привязанность» говорит о силе голода. Ось «Качество референтных групп» говорит о том, чем его утоляют. Эмпатическая группа даёт принадлежность через признание. Патогенная даёт её через страх, иерархию и исключение других. Подросток в классе, призывник на плацу, участник массовых игр и девушка в лолита-платье на мосту в Харадзюку утоляют один и тот же голод. Разница лишь в том, какая группа кормит их и какую цену за это требует.

Поездка в Абилин

Иногда конформизм не требует ни давления власти, ни большинства, уверенного в своей правоте. Достаточно того, что каждый ошибается насчёт остальных.

В 1974 году американский специалист по управлению Джерри Харви рассказал историю, ставшую классикой[22]. Жаркое июльское воскресенье в маленьком техасском городке Коулмен. Семья сидит на веранде и играет в домино. Тесть вдруг предлагает съездить пообедать в Абилин, за восемьдесят с лишним километров. Жена Харви говорит, что это прекрасная мысль. Сам Харви, не желая портить компанию, соглашается. Тёща отвечает, что давно мечтала там побывать. Все садятся в машину без кондиционера и едут по пыли в сорокаградусную жару. Обед оказывается плохим. Через четыре часа семья возвращается домой, измученная и молчаливая.

И тут кто-то из вежливости говорит, что поездка была чудесной. Тёща признаётся, что вообще-то предпочла бы остаться дома и поехала только потому, что все остальные так хотели. Харви говорит, что поехал ради других. Жена — тоже. А тесть объясняет, что предложил поездку лишь потому, что ему показалось, будто остальным скучно. Никто из четверых не хотел ехать в Абилин. Но все поехали.

Харви назвал это «парадоксом Абилина»: группа совершает действие, которого не хочет ни один из её членов, потому что каждый неверно представляет себе желания остальных. Соци-

альные психологи описывают близкое явление термином «плюралистическое незнание». Люди про себя не согласны с нормой, но уверены, что согласны все остальные, и поэтому молчат.

Сколько серых галстуков в истории было надето ради поездки в Абилин? Мы привыкли думать, что униформу навязывает власть. Но часто её поддерживает и тихое взаимное непонимание. Каждый думает, что другим нравится серое, и выбирает серое, чтобы не выделяться. Норма держится не на убеждении, а на молчании. И, как в опыте Аша с союзником, разрушить её иногда может одна честная фраза: «А я, вообще-то, не хотел».

Анабиоз

Тихоходки — микроскопические существа длиной меньше миллиметра, живущие во мху и лишайниках. Когда мох высыхает, тихоходка втягивает лапки, теряет почти всю воду и сворачивается в бочонок. Обмен веществ в ней почти останавливается. В таком состоянии она годами переносит сушь, холод и жар, губительные для других живых существ. Это и есть анабиоз. Тихоходка в анабиозе не стареет, не растёт и не размножается. Она не живёт, она ждёт.

У позвоночных есть родственная стратегия — тоническая неподвижность. Когда бегство и борьба невозможны, животное замирает, обмякает и как будто умирает. Этот древний рефлекс описан у рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Его смысл в одном послании хищнику: «меня здесь нет». Конформист, надевший серый галстук, делает в социальном мире почти то же самое. Он не борется и не бежит, он замирает и становится незаметным.

Общество полного конформизма похоже на тихоходку в бочонке. Оно устойчиво, предсказуемо и дёшево в управлении. В нём нет лишних трат на понимание непохожих. Но в нём нет и ответа на новое. Когда мир меняется, в анабиозной системе не оказывается никого, кто заранее попробовал другой путь. Нет «персистеров», нет устойчивого к болезни куста, нет союзника за столом Аша.

Противоположная крайность тоже губительна. Группа, где каждый тянет в свою сторону, не способна ни на охоту, ни на оборону, ни на собор, ни на симфонию. Человеку нужна и опора большинства, и право на отклонение. Зиммель называл это двумя желаниями моды, биологи — балансом между специализацией и разнообразием. Живая система держится на напряжении между ними.

И здесь становится видна роль власти. Предоставленные сами себе, люди находят этот баланс на ощупь: подражают и отличаются, ссорятся и мирятся с соседями. Власть вмешивается и сдвигает его в одну сторону. Ей выгодна плантация, а не лес. Она давит по оси «Нормы», объявляя отклонение пороком. Давит по оси «Статус», присваивая себе монополию на знаки превосходства. Давит по оси «Рутина», заполняя жизнь обязательными ритуалами. И пользуется осью «Страх и угроза», которую ей подарила эволюция: страх изгнания достаточно лишь слегка подогреть.

Но отклонение невозможно отменить окончательно. Как бактерии-персистеры, оно возникает снова и снова, без приказа и без плана. И почти всегда первым делом оно проявляется не в манифесте, а в форме: в длине волос, в цвете машины, в неправильно надетом платке. Что именно считать такой формой и почему власть так болезненно реагирует на неё, — об этом следующая глава.

Глава 2. Расширенное поле понятия «мода»

Ведь платье часто говорит о человеке.

— Уильям Шекспир, «Гамлет», акт I, сцена 3

Чистый лист

В советском анекдоте человек раздаёт на Красной площади листовки. Его хватают, листовки оказываются чистыми. «Что это значит?» — кричит милиционер. «А что писать? И так всё ясно».

В ноябре 2022 года анекдот стал явью. Двадцать четвёртого числа в Урумчи загорелся жилой дом, и по меньшей мере десять человек погибли. Многие в Китае считали, что выбраться жильцам помешали ковидные запреты. Через два дня студенты одного из университетов Нанкина вышли во двор кампуса с чистыми листами бумаги в руках. Ещё через день такие же листы подняли люди на Урумчийской улице Шанхая и на набережной реки Лянмахэ в Пекине. За неделю, по подсчётам австралийских исследователей, прошло 68 протестов в 31 городе[1]. Протест назвали «революцией А4», по формату обычной офисной бумаги.

На листах ничего не было написано. Именно поэтому их нельзя было ни процитировать, ни опровергнуть, ни вменить как лозунг. Пустой лист говорил ровно то, что каждый видящий в него вкладывал: всё, о чём нельзя сказать. Власти ответили так, как отвечают на высказывание. Участников вычисляли по камерам с распознаванием лиц и задерживали, иногда спустя недели. По сообщениям из Китая, в некоторых местах ограничили продажу бумаги формата А4. Тогда люди стали выходить с другими белыми предметами[2].

Двумя годами раньше похожая история случилась в Беларуси. После президентских выборов 9 августа 2020 года символом протеста стал бело-красно-белый флаг, восходящий к недолгой Белорусской народной республике 1918 года. Формально флаг не был запрещён. Но вскоре наказывать стали за само сочетание цветов. Двадцатилетнюю студентку-художницу Ангелину Сержан задержали в минском парке в январе 2021 года из-за белых носков с красной полосой[3]. Жительницу Гродно оштрафовали за бело-красные брюки. Ещё одну женщину наказали за полотенца, сушившиеся на балконе: суд счёл их «незарегистрированной символикой»[4].

Полотенце, носки, чистый лист. Ни в одном из этих предметов нет ни слова, и всё же власть читает их безошибочно. Чтобы понять, почему, нужно расширить само понятие моды.

Одежда, которая говорит

В 1937 году в Словакии вышла небольшая книга русского фольклориста Петра Богатырёва «Функции национального костюма в Моравской Словакии»[5]. Богатырёв, работавший рядом с Романом Якобсоном в Пражском лингвистическом кружке, смотрел на крестьянскую одежду так, как лингвист смотрит на язык. Богатырёв показал, что костюм в моравской деревне никогда не бывает просто одеждой. Костюм одновременно защищает от холода, украшает и сообщает, из какой ты деревни, богат ли ты, замужем ли, в трауре ли, идёшь ли на праздник. Девушку от замужней женщины отличали по головному убору раньше, чем по лицу. Каждый элемент костюма был знаком, и односельчане читали эти знаки без запинки.

Спустя сорок лет Юрий Лотман применил тот же взгляд к поведению. В статье «Декабрист в повседневной жизни» он показал, что будущих декабристов узнавали в обществе задолго до восстания: по манере говорить резко и прямо, по нарочитой серьёзности, по отказу от светских условностей[6]. Молодой человек, пришедший на бал и демонстративно не танцующий, сообщал о своих взглядах внятнее любой прокламации. Поведение становилось текстом, и современники умели его читать.

Французский семиотик Ролан Барт в книге «Система моды» 1967 года разобрал язык модных журналов[7]. Барта интересовало, как вещь превращается в значение: почему одна и та же юбка в одном сезоне «молодит», а в другом «старомодна». Смысл, по Барту, живёт не в ткани, а в системе различий. Знак означает что-то лишь потому, что отличается от соседних знаков.

Отсюда рабочее определение, которым мы будем пользоваться в этой книге. Мода — это любая разделяемая людьми и меняющаяся во времени форма, через которую человек или группа сообщает о принадлежности и об отличии. Под это определение подпадает костюм, но не только он. Под него подпадают фасад дома и ширина улицы, музыкальный лад и ритм, причёска и походка, манера писать картину и строить фразу. Везде, где есть общепринятая форма, возможно и отклонение от неё. А где возможно отклонение, власть видит угрозу.

Дом без бровей

Если костюм — одежда человека, то архитектура — одежда города. И город, как человек, может одеться вызывающе.

Вена, 1898 год. На краю Карлсплаца вырастает белое кубическое здание с золотым куполом из сплетённых металлических листьев. Венцы тут же прозвали его «кочаном капусты». Над входом золотыми буквами выведен девиз: «Каждому времени — своё искусство, искусству — свою свободу». Здание построили художники Венского сецессиона, отколовшиеся от официального Дома художников. Их выставочный павильон и был их манифестом: не в тексте, а в объёме, цвете и золоте.

Через десять с небольшим лет архитектор Адольф Лоос пошёл дальше. В лекции «Орнамент и преступление» он объявил украшательство пережитком, недостойным современного человека[8]. А в 1909 году получил заказ на Михаэлерплац, прямо напротив императорского дворца Хофбург: дом для портновской фирмы «Гольдман и Салач». Нижние этажи он облицевал дорогим мрамором, а верхние оставил гладкими и белыми: ни наличников, ни карнизов над окнами, ни лепнины. Город, привыкший к пышным фасадам, увидел в этом непристойность. Венцы прозвали постройку «домом без бровей». Стройку, начатую весной 1910 года, вскоре остановили. Лоосу пришлось пойти на уступку и повесить под окнами металлические цветочные ящики. По венскому преданию, император Франц Иосиф велел держать задёрнутыми шторы на окнах дворца, выходивших на этот дом.

Фасад, лишённый украшений, оказался таким же вызовом, как стиляга в узких брюках. Дом отказывался носить мундир, положенный зданию в имперской столице. И власть отреагировала по той же схеме: остановить, заставить «приодеться».

Современный пример жёстче. В 2008 году власти Шанхая пригласили китайского художника Ай Вэйвэя построить мастерскую в новом художественном квартале района Цзядин. Стройка шла с лета 2009-го до октября 2010 года. Но художник открыто критиковал власть, и едва мастерскую достроили, её объявили незаконной постройкой. В ответ Ай через Твиттер позвал всех желающих в ноябре на пир из десяти тысяч речных крабов. Сам он туда не попал: полиция держала его под домашним арестом в Пекине. Сотни людей приехали без него. По-китайски «речной краб» звучит почти как «гармония», официальное слово для цензуры. 11 января 2011 года мастерскую снесли за один день[9]. Здание исчезло, но пир из крабов остался в истории как ещё одно бессловесное высказывание.

Опасный лад

Платон в «Государстве» передаёт мнение музыкального теоретика Дамона: нигде не меняют музыкальных ладов, не затрагивая важнейших государственных законов[10]. Поэтому стражи идеального полиса должны прежде всего охранять музыку от новшеств. Две с половиной тысячи лет спустя эту мысль подтвердили на практике самые разные режимы.

Париж, 29 мая 1913 года. В новом Театре Елисейских Полей «Русские сезоны» Дягилева показывают премьеру «Весны священной» Игоря Стравинского в хореографии Нижинского. С первых тактов публика смеётся, свистит, спорит, и вскоре в зале начинается потасовка. Танцовщики едва слышат оркестр. Скандал вызвали не слова: в балете их нет. Возмущение вызвали сбитый ритм, диссонансы и угловатые, «неправильные» движения тел.

В Советском Союзе музыкальная форма стала политическим делом официально. В январе 1936 года, вскоре после того как Сталин побывал на опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», «Правда» напечатала редакционную статью «Сумбур вместо музыки». Композитора обвинили не в антисоветских идеях, а в «формализме»: в диссонансах, в нарочитой нескладице, в отказе от простой мелодии. В феврале 1948 года постановление ЦК об опере Мурадели «Великая дружба» распространило те же обвинения на Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна и других. Тем временем по стране гулял лозунг о джазе: «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь».

Современность и здесь даёт примеры не мягче. В Иране после 1979 года женщинам запрещено петь соло перед мужской аудиторией. В декабре 2024 года певица Парасту Ахмади спела концерт во дворе старого караван-сарая, без хиджаба, и показала его в прямой трансляции на YouTube. На следующий день судебная власть возбудила дело против неё и музыкантов. Позднее суд, по сообщениям, приговорил её и семерых участников к 74 ударам плетью каждого[11]. В конце июля 2023 года талибы сожгли в Герате конфискованные музыкальные инструменты, собранные в основном по свадебным залам. А закон «О распространении добродетели и предотвращении порока», обнародованный в августе 2024 года, объявил женский голос интимным и запретил женщинам петь, декламировать и читать вслух на людях[12].

Почему власть так боится звука? Музыка работает на оси «Рутина»: она задаёт ритм, а ритм организует тела, о чём мы говорили в первой главе. Тот, кто владеет ритмом, владеет и строем, и маршем, и праздником. Чужой ритм, синкопа, диссонанс, женский голос там, где положено молчать, — это перехват управления телами. Без единого слова.

Тело, холст, страница

Самый первый материал моды — само тело. Французский антрополог Марсель Мосс в 1934 году прочитал доклад «Техники тела»[13]. Мосс заметил, что даже ходьба, плавание, манера сидеть или держать руки не даны природой, а выучены в обществе. Однажды, лёжа в нью-йоркской больнице, он размышлял, где он видел такую походку, как у здешних медсестёр. И понял: в кино. А вернувшись в Париж, увидел, что французские девушки тоже начали ходить «по-американски». Голливуд менял походку быстрее любого указа.

Власть всегда понимала, что тело — поле для формы. В 1698 году Пётр I, вернувшись из Великого посольства, собственноручно обрезал бороды боярам. Позднее бороду обложили пошлиной, и плативший получал особый медный «бородовой знак». Через три с лишним века тот же закон талибов 2024 года потребовал обратного: мужчине запрещено брить бороду или подстригать её короче кулака. Направление менялось, принцип оставался прежним. Власть решала, каким должно быть лицо подданного.

Холст — следующий слой. В 1863 году парижский Салон, главная выставка Франции, отверг больше половины присланных работ. Недовольство было так велико, что Наполеон III разрешил показать отвергнутое в отдельных залах. Так возник «Салон отверженных». Главным скандалом стал «Завтрак на траве» Эдуарда Мане: обнажённая женщина в обществе одетых мужчин, написанная плоско, без положенной гладкости академической манеры. Публика смеялась, критики возмущались. Возмущала не только тема, но и сама манера письма. Через одиннадцать лет молодые художники, которых назовут импрессионистами, устроили собственную выставку. А ещё через полвека их картины висели в главных музеях мира. Классический путь от запрета к канону.

Наконец, страница. Роман Джеймса Джойса «Улисс» печатался частями в американском журнале «Литл ревью», и в 1921 году издателей осудили за непристойность. В США книгу не допускали до декабря 1933 года, когда судья Джон Вулси постановил, что роман не порнографичен. Скандал вызывали отдельные эпизоды, но ещё сильнее раздражала форма: поток сознания, разрушенная пунктуация, финальный монолог Молли Блум, где на десятках страниц почти нет знаков препинания. Читателя лишали привычного порядка. Позже советская критика назовёт такие вещи «формализмом» и будет бороться с ними так же, как с диссонансами Шостаковича.

Тело, холст, страница, фасад, лад. Во всех случаях власть реагирует не только на содержание, но и на форму. А часто именно на форму прежде всего.

Невербальный манифест

Почему же носки и чистый лист пугают власть порой сильнее, чем открытый текст? Причин по меньшей мере четыре.

Первая — скорость. В 1996 году французский нейробиолог Симон Торп с коллегами показал, что человек определяет, есть ли на фотографии животное, примерно за 150 миллисекунд[14]. Мозг схватывает общий смысл зрительной сцены раньше, чем глаз успеет прочитать хотя бы одно слово. Яркое пятно в серой толпе замечают все и сразу. Листовку нужно взять в руки, прочитать, понять. Носки читаются мгновенно.

Вторая — отсутствие предварительной цензуры. Текст можно остановить на пути к читателю: в редакции, в типографии, на сервере. Одежда, причёска, походка, полотенце на балконе выходят в публичное пространство напрямую. Цензор видит их тогда же, когда и все остальные, то есть слишком поздно.

Третья — неуловимость смысла. Лозунг можно процитировать в протоколе. А что вменить человеку с чистым листом? В чём обвинить женщину, сушащую полотенца? Носитель бессловесного знака всегда может сказать: это просто носки. Свои читают знак безошибочно, чужим трудно доказать, что он вообще что-то значит. Поэтому власть, стремясь наказать, вынуждена выглядеть смешно: судить полотенца, запрещать бумагу. И это само по себе подрывает её авторитет.

Четвёртая — цена. Израильский биолог Амоц Захави предложил в 1975 году «принцип гандикапа»[15]. Павлиний хвост мешает летать и привлекает хищников, но именно поэтому он честно сообщает о силе самца: слабый такой хвост не потянет. Опасная одежда работает так же. Человек, надевший бело-красные носки в Минске 2021 года, рискует пятнадцатью сутками. Значит, его сигнал дорог и потому надёжен. Свои понимают: на этого можно положиться.

Американский политолог Джеймс Скотт, с чьей книгой мы уже встречались, описал в другой работе, «Господство и искусство сопротивления», различие между «публичным» и «скрытым» сценарием[16]. Публично подчинённые говорят то, что хочет слышать власть. Между собой, на кухне, в песне, в анекдоте, они говорят иное. Мода — один из немногих способов вынести скрытый сценарий на улицу, не произнеся его вслух. Именно на этом пороге между кухней и площадью и рождается эстетический бунт.

Цвет как партия

В мае 1908 года Эммелин Петик-Лоуренс, одна из руководительниц британского Женского социально-политического союза, выбрала для движения суфражисток три цвета. Фиолетовый, по её объяснению, означал достоинство, белый — чистоту, зелёный — надежду[18]. Через месяц, 21 июня, в Гайд-парке прошла огромная демонстрация, вошедшая в историю как «Женское воскресенье». Участниц просили прийти в белом, с фиолетовыми и зелёными лентами и шарфами. Дочь основательницы движения Сильвия Панкхёрст спешно рисовала знамёна, значки и эмблемы. Тысячи женщин, сходившихся в парк из разных концов Лондона, впервые выглядели как одно целое.

Петик-Лоуренс понимала, что делает. Она призывала каждую сторонницу носить цвета движения и предсказывала, что тогда они станут господствующей модой. Так и случилось, причём очень быстро. Открывшийся в том же 1908 году универмаг «Селфриджес» продавал платья, броши, ленты и шляпы в суфражистских цветах. Другие магазины предлагали туфли и даже нижнее бельё в фиолетово-бело-зелёной гамме. Цвета стали чем-то вроде партийного билета, который можно было приколоть к блузке или носить под платьем.

Суфражистки научились пользоваться формой и тактически. Женщины в элегантных белых платьях спокойно проходили на политические собрания, куда их не ждали, а затем доставали фиолетово-зелёные ленты и перебивали ораторов. Белое платье было маскировкой, лента — знаменем. Тот же переход от скрытого к явному мы ещё увидим у японских христиан и у купцов Эдо.

И здесь есть деталь, важная для всей книги. Коммерческое присвоение не обязательно убивает протест. Магазины, продававшие суфражистские броши, помогали движению собирать деньги и распространяли его символ туда, куда не дошёл бы ни один митинг. Рынок может

быть не только могильщиком бунта, но и его рупором. Всё зависит от того, успел ли сам бунт сказать то, что хотел.

Зонт и шапка

Сто с лишним лет спустя бытовые вещи снова стали политическим языком, и на этот раз язык распространялся с невиданной скоростью.

В Гонконге 28 сентября 2014 года полиция применила против участников мирной сидячей акции слезоточивый газ и перцовый спрей. Демонстранты подняли над головами обыкновенные зонты — единственное, что было у них под рукой. Фотографии разлетелись по миру за несколько часов, и протест получил имя «революции зонтиков»[19]. Жёлтый зонт стал символом движения: его раскрывали на улицах, на выпускных церемониях в университетах, на стадионах. Через несколько дней после применения газа участники одной из групп нарисовали на зонте иероглиф, означающий «поддерживать» и «держаться». Этот зонт сегодня хранится в лондонском Музее Виктории и Альберта.

В ноябре 2016 года, после президентских выборов в США, две жительницы Лос-Анджелеса — сценаристка Криста Сух и архитектор Джейна Цвейман — придумали для предстоящего Марша женщин в Вашингтоне розовую вязаную шапку с двумя ушками. Хозяйка местного магазина пряжи Кэт Койл составила простую схему вязания, и её выложили в интернет, чтобы каждый мог связать шапку сам. 21 января 2017 года розовые шапки надели многие из полумиллиона участников марша в Вашингтоне и участники маршей по всему миру. Улицы стали, как и задумывали авторы, «розовым морем».

А 13 февраля, меньше чем через месяц, одна из этих шапок, связанная самой Цвейман, поступила в коллекцию того же Музея Виктории и Альберта[20]. Музей приобрёл её по программе «быстрого реагирования», созданной специально для того, чтобы собирать предметы, ставшие символами текущих событий.

Сравним эту скорость с историями, ещё ожидающими нас впереди. Платью Рэй Кавакубо, высмеянному в Париже в 1981 году, понадобилось тридцать шесть лет, чтобы попасть в главный музей Америки. Розовой шапке хватило трёх недель. Музейная канонизация, веками венчавшая долгий путь, теперь может наступить почти одновременно с протестом.

Обратим внимание и на то, что объединяет зонт, шапку и суфражистскую ленту. Все три вещи дёшевы, доступны и знакомы каждому. Их не нужно заказывать у портного. Зонт уже есть в прихожей, шапку можно связать за вечер, ленту — купить в любой галантерее. В терминах Матрицы цена входа по оси «Оценка энергии» минимальна, а видимость максимальна. Чем дешевле знак, тем быстрее его подхватывает масса. Именно поэтому самые массовые протестные формы почти всегда рождаются из самых простых вещей.

Каждой из форм, разобранных в этой главе, соответствуют свои оси Матрицы. Костюм и тело чаще всего бросают вызов осям «Нормы» и «Статус». Архитектура спорит с властью прежде всего о статусе: кто вправе возвышаться над площадью. Музыка вторгается в ось «Рутина», перехватывая ритм. Литература и живопись создают круг посвящённых читателей и зрителей и тем самым работают с осью «Качество референтных групп». А готовность платить за форму свободой и деньгами говорит о двух осях сразу: «Страх и угроза» и «Оценка энергии».

Как именно работать с Матрицей при анализе конкретного эстетического бунта, мы разберём в следующей главе.

Глава 3. Матрица семи осей в анализе эстетических революций

Кто хочет быть человеком, должен быть нонконформистом.

— Ральф Уолдо Эмерсон, «Доверие к себе» (1841)

Из кабинета в историю

В 1942 году американский социальный психолог Герберт Хаймен изучал, как люди оценивают собственное положение в обществе[1]. Хаймен заметил странную вещь. Человек судит о себе не по абсолютным меркам, а сравнивая себя с определённым кругом людей. Один и тот же доход кажется богатством на фоне соседей по улице и бедностью на фоне однокурсников, ставших банкирами. Этот круг Хаймен назвал референтной группой. В 1950 году Роберт Мертон и Элис Китт развили понятие дальше[2]. Референтной может быть и группа, к которой человек не принадлежит, но на которую равняется. Новобранец, перенимающий повадки старослужащих, живёт по нормам группы, в которую ещё не принят.

Для психотерапевта эта мысль оказывается ключом. Многие страдания пациента рождаются не внутри него, а на стыке между ним и теми, чьим мнением он себя измеряет. В психиатрическом центре «Шаар Менаше» мы с доктором Игорем Сальгаником разработали терапию, построенную на анализе референтных групп[3]. Из этой работы выросла и Матрица семи осей: инструмент, описывающий, где человек особенно чувствителен и какие силы управляют его поведением.

Клиническая Матрица создавалась для одного человека. Но очень скоро выяснилось, что она годится и для групп, и для целых обществ. У культуры, как у пациента, есть свои болевые точки. Одна болезненно реагирует на всё, что задевает иерархию. Другая — на любое нарушение ритуала. Третья живёт в хроническом страхе перед внешней угрозой и потому не терпит внутренних отклонений.

Эстетический бунт оказывается удобной лабораторией для такого анализа. Такой бунт видим, датирован, задокументирован в фотографиях, газетах, полицейских протоколах. И почти всегда в нём можно различить две стороны: на что давит система и чем отвечает человек.

Семь осей: что искать

Каждая ось задаёт свой вопрос. Ниже — краткая памятка: как давление системы и ответ бунтаря выглядят на каждой оси, если смотреть на одежду, архитектуру, музыку и поведение.

Ось	**Главный вопрос**	**Как давит система**	**Как отвечает бунт**
1. Статус	Кто наверху и по каким знакам это видно?	Монополия на знаки отличия: мундиры, ордена, дворцы, законы о роскоши	Присвоение или пародия чужих знаков; свои, альтернативные знаки престижа
2. Нормы	Что разрешено и кто это решает?	Дресс-коды, цензура, запреты на цвета, длину волос, музыку	Нарушение табу: пол, тело, приличия, религиозный канон
3. Страх и угроза	Чего боятся и как защищаются?	Патрули, аресты, публичное унижение, образ внешнего врага	Готовность к риску; эстетика опасности или, напротив, демонстративной уязвимости
4. Привязанность	К кому человек прирастает?	Требование верности семье, народу, вождю	

Уход в собственное «племя»; выбор своих вместо данных от рождения

5. Рутина
Насколько нужны ритуал и предсказуемость?
Обязательные ритуалы: строй, парад, гимн, единый календарь
Слом бытового сценария; собственные ритуалы и ритмы

6. Оценка энергии
Есть ли ощущение сил жить по-своему?
Навязанная апатия, «всё решено за тебя»
Избыток сил, прорывающийся в форме; «бесполезные» траты на образ

7. Качество референтных групп
Чьим мнением человек себя измеряет и что даёт ему эта группа?
Единственная разрешённая группа; изоляция несогласных
Альтернативная группа: поддерживающая или, наоборот, деструктивная

Две оси требуют уточнения. Шестая ось, «Оценка энергии», описывает не физическую силу, а субъективное ощущение наличия сил. Физически крепкий человек может чувствовать полный упадок, и наоборот. Поэтому демонстративные траты на образ — лишь внешний признак. Важнее внутреннее переживание: «у меня есть силы быть другим».

Седьмая ось оценивает не просто наличие группы, а её качество. Группа бывает эмпатической и поддерживающей или патологической: травящей, подавляющей, иногда психотической. Она может быть реальной или воображаемой, существовать сейчас или остаться в прошлом, как школьный класс, давно распавшийся, но продолжающий звучать в голове. С этой осью связаны и «внутренние диктаторы» — голоса значимых групп, усвоенные человеком и продолжающие командовать им изнутри.

Два профиля

Анализ любого эстетического бунта в этой книге строится одинаково. Мы составляем два профиля и кладём их рядом.

Первый профиль, профиль давления, описывает систему: государство, церковь, школу, семью. По каждой оси мы спрашиваем, насколько сильно система здесь давит и какими средствами. Источники для этого — законы и указы, газетные кампании, судебные дела, воспоминания, официальное искусство эпохи.

Второй, профиль ответа, описывает бунтаря или субкультуру. По каждой оси мы спрашиваем, где и как проявляется отклонение. Источники здесь другие: фотографии, одежда в музейных собраниях, пластинки, дневники, мемуары, интервью, а иногда и те же полицейские протоколы, увиденные с другой стороны.

Оценки по осям в этой книге качественные: давление или ответ бывает слабым, умеренным или сильным. Мы сознательно не превращаем их в баллы. Матрица — не градусник, а оптика. Её задача не измерить культуру с точностью до десятой доли, а показать, где проходит линия напряжения.

Самое интересное начинается при сравнении двух профилей. Почти никогда ответ не совпадает с давлением ось в ось. Система давит по нормам, а бунтарь отвечает по энергии. Система отнимает статус, а бунтарь создаёт собственную иерархию. Именно в этих смещениях и видна психологическая логика бунта. Человек отвечает не там, где его бьют, а там, где у него остался ресурс.

Посмотрим, как это работает, на двух примерах, разделённых семьюдесятью годами.

Пример первый: стиляги

Фельетон Дмитрия Беляева «Стиляга» появился в «Крокодиле» 10 марта 1949 года[4]. Начинается он с прогулки по ржаному полю. Рассказчик замечает колос, гордо возвышающийся над остальными, и восхищается им. Спутник-агроном срывает колос и объясняет, что он пуст: красив, высок, а зерна не даёт, только тянет соки из почвы. Дальше следует портрет молодого человека на студенческом вечере: оранжевая спина пиджака, зелёные рукава, широченные брюки канареечного цвета, ботинки из чёрного лака и красной замши.

Этот колос — готовый профиль давления. Посмотрим на него по осям.

Профиль давления. По оси «Нормы» давление сильное: стиляга выставлен в журнале как «устаревший тип», его прорабатывают на собраниях, исключают из комсомола и институтов. По оси «Статус» — тоже сильное: единственный законный путь наверх лежит через труд и общественную работу, а самовольный яркий облик объявлен паразитизмом, тем самым пустым колосом. По оси «Страх и угроза» давление со временем нарастает: от насмешки к патрулям с ножницами. По оси «Рутина» система предлагает только свои ритуалы: демонстрации, собрания, субботники. По оси «Качество референтных групп» разрешена одна группа — коллектив, комсомольская ячейка.

Профиль ответа. Стиляги почти не спорят на оси «Нормы» словами: они не пишут манифестов. Зато они вкладывают огромную энергию в форму. Одежду шили и перешивали сами, добывали через фарцовщиков, переделывали из того, что было под рукой. Музыку записывали на выброшенной больницами рентгеновской плёнке. Пластинку вырезали ножницами в круг и прожигали в центре отверстие папиросой. Эту «музыку на рёбрах» продавали из-под полы, пока в 1958 году её изготовление не запретили, а в 1959-м не разгромили крупнейшую подпольную сеть[5]. С января 1955 года по вечерам ловили сквозь глушилки «Час джаза» Уиллиса Коновера на «Голосе Америки»[6].

По оси «Оценка энергии» ответ максимальный. Вся эта изобретательность, бессмысленная с утилитарной точки зрения, говорит о переживании избытка сил на фоне серой нормы. По оси «Статус» стиляги создают собственную иерархию. Выше всех стоит тот, у кого вещь настоящая, американская, а не самодельная; самые строгие называли себя «штатниками». По оси «Качество референтных групп» возникает своё «племя»: компания на «Броде», свой сленг, свои места и танцы. По оси «Страх и угроза» — готовность к риску: исключение, ножницы, позор на собрании становятся платой за принадлежность.

Сравнение двух профилей показывает то самое смещение. Система давила на нормы и статус. Стиляги ответили энергией, собственной группой и собственной лестницей престижа. А через несколько лет многое из того, за что стиляг высмеивали и стригли, стало вполне допустимой частью советской городской жизни: и узкие брюки, и яркие галстуки, и джаз.

Пример второй: женщины Тегерана

Семьдесят лет спустя та же оптика работает в совсем другом мире. Обязательный платок в Иране ввели для женщин и девочек старше девяти лет в 1981 году. После гибели Махсы Амини в сентябре 2022 года и протестов под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода» всё больше иранок стали выходить на улицу с непокрытой головой. Власть ответила возвращением патрулей нравов в 2023 году, камерами, штрафами, закрытием кафе и магазинов, обслуживавших женщин без платка. Парламент и Совет стражей конституции одобрили закон «О хиджабе и целомудрии» с суровыми экономическими санкциями. Но 14 декабря 2024 года, после публичной критики, в том числе со стороны президента Масуда Пезешкиана, Высший совет национальной безопасности приостановил его вступление в силу[7].

Профиль давления. По оси «Нормы» — предельное: правило о платке закреплено законом и объявлено религиозной обязанностью. По оси «Страх и угроза» — тоже предельное: смерть под стражей, аресты, наблюдение. Новый закон добавил давление по оси «Статус», прежде всего экономическому: женщине грозили крупные штрафы и ограничения в работе

и деловой жизни. По оси «Качество референтных групп» система опирается на свои группы: басиджей, университетскую охрану, «добровольных» блюстителей нравов на улице.

Профиль ответа. Главный ответ лежит на оси «Страх и угроза». Женщина, снимающая платок, знает о риске и идёт на него. Это та самая дорогая и потому честная форма сигнала, о которой говорилось во второй главе. По оси «Качество референтных групп» у этого поступка есть мощная опора: незнакомые женщины на улице видят друг друга, и каждая непокрытая голова делает следующую легче. Опросы фиксируют эту перемену. По данным, собранным исследователями Брандейского университета, до 2000 года обязательный хиджаб поддерживали не меньше половины опрошенных иранцев, в 2016 году — 23 процента, а в 2024 году — лишь 16 процентов[8]. Московичи узнал бы здесь свой эффект последовательного меньшинства, постепенно ставшего большинством.

Есть в этой истории эпизод, который психиатр не может обойти. 2 ноября 2024 года студентка Исламского университета Азад в Тегеране Аху Дарьяи после стычки с охраной из-за платка разделась до белья и прошла так по территории кампуса. Её задержали. Представитель университета сразу заявил, что у неё обнаружили «сильное психическое напряжение» и «психическое расстройство». Студентку поместили в психиатрическое отделение и через две с половиной недели отпустили к семье, объявив, что дела против неё нет[9].

Судить о психическом состоянии человека по видеозаписи и сообщениям прессы невозможно, и я не стану этого делать. Но сам ход власти хорошо известен истории психиатрии. Объявить протест болезнью — значит лишить его смысла. Больного не нужно опровергать, его нужно лечить. Советская карательная психиатрия десятилетиями применяла этот приём к диссидентам. На языке Матрицы это попытка перевести конфликт с оси «Нормы», где у власти нет аргументов, на территорию медицины, где спорить уже не с кем.

Гипотеза компенсации

Оба примера подсказывают закономерность, которую мы будем проверять на протяжении всей книги. Чем сильнее система давит по осям «Нормы» и «Статус», тем сильнее компенсаторный ответ по осям «Страх и угроза» и «Оценка энергии». Иначе говоря, жёсткий запрет не гасит отклонение, а делает его рискованнее, дороже и ярче.

У этой гипотезы есть опора в психологии. В 1966 году американский психолог Джек Брем сформулировал теорию психологического реактивного сопротивления[10]. Когда у человека отнимают свободу выбора или угрожают ею, у него возникает мотивация эту свободу вернуть. Запрещённый вариант становится привлекательнее, чем был до запрета. Одна из самых наглядных проверок пришла из жизни. В начале семидесятых власти округа Дейд во Флориде, куда входит Майами, запретили стиральные порошки с фосфатами ради защиты водоёмов. Майкл Мазис сравнил отношение к таким порошкам у жителей Майами и у жителей Тампы, где запрета не было. Жители Майами стали оценивать запрещённые порошки как более эффективные[11]. Порошки не изменились. Изменилось то, что их запретили.

Вторую опору дают межкультурные исследования. В 2011 году Мишель Гелфанд с большой международной группой сравнила 33 страны по тому, насколько строги в них социальные нормы и насколько мало терпимости к отклонениям[12]. Исследователи назвали это различием между «тугими» и «свободными» культурами. «Тугие» культуры чаще оказывались там, где в истории было больше угроз: высокая плотность населения, нехватка ресурсов, природные бедствия, войны, эпидемии. На языке Матрицы это связь между осью «Страх и угроза» и осью «Нормы» на уровне целого общества. Страх стягивает нормы.

Но у гипотезы компенсации есть важная оговорка. Зависимость не линейна. При умеренном давлении бунт становится ярче. При тотальном терроре открытый ответ может исчезнуть совсем: цена сигнала становится слишком высокой. Тогда отклонение уходит под землю, в тот «скрытый сценарий», о котором писал Скотт. Яркий галстук сменяется символом на изнанке

одежды, джаз — шёпотом, плакат — чистым листом. Этим подземным формам посвящена глава десятая.

Профиль третий: модники и рокеры, 1964 год

До сих пор мы прикладывали Матрицу к обществам, где отклонение преследовало государство. Но давление может исходить и от газет, и от общественного мнения, и от взрослых, уверенных, что молодёжь катится в пропасть. Хорошо видно это на истории, случившейся в демократической Британии.

К началу 1960-х годов британская молодёжь разделилась на два враждебных племени. «Моды», от слова «модерн», носили узкие итальянские костюмы, остроносые туфли, парки армейского образца поверх костюмов, ездили на мотороллерах «Веспа» и «Ламбретта», увешанных зеркалами. «Рокеры» ходили в чёрной коже, джинсах и сапогах, гоняли на тяжёлых мотоциклах и слушали рок-н-ролл пятидесятых. Одни ценили лоск, другие — грубость. Одежда сразу сообщала, к какому лагерю ты принадлежишь.

На Пасху 1964 года в приморском городке Клактон-он-Си, а затем на Троицу, 18 и 19 мая, в Брайтоне, Маргите и Гастингсе произошли стычки между модами и рокерами. Кто-то бил стёкла, кто-то дрался на пляже, полиция арестовала десятки человек. Газеты вышли с заголовками о «битве на пляжах» и «дне террора». Один судья в Маргите назвал задержанных «опилочными цезарями», которые храбры только в стае, как крысы. Подростки в парках стали символом национальной угрозы.

Молодой социолог Стэнли Коэн сравнил газетные отчёты с тем, что происходило на самом деле, с протоколами судов и с рассказами самих участников. В 1972 году он опубликовал книгу «Народные дьяволы и моральная паника»[13]. Коэн показал, что реальные беспорядки были довольно скромными, а пресса раздула их до масштабов бедствия. Более того, газетная шумиха сама усилила вражду: моды и рокеры, прочитав о себе как о смертельных врагах, стали вести себя именно так. Коэн назвал этот механизм «моральной паникой», а его героев — «народными дьяволами». Обществу нужен образ врага, и одежда даёт этот образ быстрее всего.

Профиль давления. Главная ось здесь — «Нормы», но давит на неё не государство, а пресса и общественное мнение. По оси «Страх и угроза» давление создаётся словами: «нашествие», «бедствие», «вредители». По оси «Статус» взрослое общество отказывает молодёжи из рабочих кварталов в праве на собственный облик и собственный досуг. Полиция и суды лишь достраивают то, что уже нарисовали газеты.

Профиль ответа. Обе группы отвечают по седьмой оси: создают сплочённые племена с собственной униформой, музыкой и транспортом. По оси «Оценка энергии» моды особенно расточительны: дорогие костюмы шили на заработки рассыльных и конторщиков, каждое зеркало на мотороллере стоило денег. Это та же логика дорогого сигнала, что и у стиляг.

Из этого профиля следует важный вывод. Моральная паника — демократический двойник патруля с ножницами. Свободное общество не отправляет подростков в лагеря, но может с той же лёгкостью сделать из них «народных дьяволов». И в обоих случаях мишенью становится прежде всего одежда, потому что она видна издалека.

Профиль четвёртый: девушки с улицы Энгелаб

27 декабря 2017 года на тегеранской улице Энгелаб, что значит «Революция», молодая женщина Вида Мовахед поднялась на электрический распределительный шкаф у тротуара. Она сняла белый платок, привязала его к палке и молча подняла над головой[14]. Её арестовали почти сразу. Но фотография разошлась по сети, и в следующие недели другие женщины в Тегеране и других городах стали повторять тот же жест: поднимались на возвышение, снимали платок, держали его на палке. Их прозвали «девушками с улицы Энгелаб». К февралю 2018 года власти сообщили о задержании 29 женщин. Одна из них, Шапарак Шаджаризаде, позже

рассказала, что её приговорили к двум годам заключения и ещё восемнадцати годам условно, и уехала из страны.

В этой истории есть деталь, которую хочется поставить рядом с ножницами из введения. По сообщениям иранской прессы, власти соорудили над распределительными шкафами на улице Энгелаб наклонные навесы, чтобы на них больше нельзя было встать[15]. Государство, не сумевшее остановить жест, попыталось убрать постамент.

Профиль давления. Он совпадает с тем, что мы описали для Ирана выше: предельные «Нормы», предельные «Страх и угроза». Но здесь виден ещё один приём — борьба с пространством. Власть перестраивает улицу так, чтобы на ней негде было выделиться.

Профиль ответа. Главная ось — «Страх и угроза»: женщина сознательно идёт на арест. Но самое интересное происходит по оси «Качество референтных групп». Вида Мовахед действовала одна. Однако её одиночный жест мгновенно создал группу: десятки незнакомых женщин в разных городах стали её союзницами. Это тот самый эффект союзника из опыта Аша, только в масштабе страны. Одна поднятая палка с платком показала остальным, что они не одни.

А ещё этот профиль показывает, как меняется роль формы. Предписанный государством платок женщина не выбрасывает, а поднимает над собой, как флаг. Тот же самый кусок ткани превращается из знака подчинения в знак протеста — одним движением руки.

Границы метода

Любая оптика что-то увеличивает, а что-то оставляет за краем. У Матрицы тоже есть пределы, и честнее назвать их сразу.

Первый предел — уровень анализа. Клиническая Матрица создана для одного человека, которого врач видит, слышит, может расспросить. Субкультуру или общество расспросить нельзя. Мы видим их через документы, а документы пишут люди со своими интересами: фельетонисты «Крокодила», полицейские, мемуаристы, тоскующие по молодости. Поэтому каждый профиль в этой книге опирается на несколько независимых источников, и там, где они расходятся, это будет сказано.

Второй предел — соблазн диагноза. Языком психиатрии легко злоупотребить. Назвать культуру «тревожной», а режим «параноидным» — значит сказать красиво, но неточно. Матрица описывает чувствительность, а не болезнь. Пример Аху Дарьяи показывает, как опасно путать одно с другим.

Третий предел — индивидуальные различия. Внутри одной субкультуры люди очень разные. Один стиляга рисковал всем ради джаза, другой просто любил красиво одеваться и плохо понимал, во что ввязался. Профиль группы — это её усреднённое лицо, а не портрет каждого.

Четвёртый предел — взгляд автора. Я психиатр, а не историк моды, и смотрю на материал профессиональными глазами. Это даёт угол зрения, которого нет у искусствоведа, но может заслонить то, что искусствовед увидел бы сразу. Поэтому там, где речь идёт о крое, технике или стилистике, книга опирается на работы специалистов.

С этими оговорками Матрица становится рабочим инструментом. Первым полем для неё станет самое малое из обществ, в которое попадает человек, — семья.

Раздел II. Семья и детский коллектив: первая школа конформизма

Глава 4. Семья как первое государство

Дорогой отец, ты недавно спросил меня, почему я утверждаю, будто боюсь тебя.
— Франц Кафка, «Письмо отцу» (1919)

Абайя у школьных ворот

Франция, понедельник 4 сентября 2023 года, первый день учебного года. Двенадцать миллионов школьников идут в классы. За неделю до этого министр образования Габриэль Аттал объявил, что в государственных школах больше нельзя носить абайю — длинное свободное платье, которое надевают некоторые мусульманки. Министерство заранее отметило более пятисот школ, где ожидались нарушения.

В то утро, по словам министра, в абайе к школам пришли почти триста девочек. Большинство согласились переодеться. Шестьдесят семь отказались, и их отправили домой с письмом для родителей о принципах светскости[1].

Представим себе одну такую сцену: девочка у ворот, дежурный учитель, разговор вполголоса. В ней есть невидимые участники. За спиной девочки стоит семья с её верой и представлениями о скромности. Перед ней стоит государство с законом 2004 года о религиозных символах в школе. А посередине — сама девочка, о которой мы, в сущности, ничего не знаем.

Кто выбрал эту абайю? Может быть, мать, для которой платье — само собой разумеющаяся часть жизни. Может быть, отец, видящий в нём границу между своей семьёй и чужим миром. А может быть, сама девочка: из веры, из упрямства, из желания показать школе, что её нельзя переодеть по приказу. Одна и та же одежда может оказаться и подчинением семье, и бунтом против государства, и тем и другим сразу.

Эта двойственность и есть предмет главы. Ребёнок не выбирает, в какой стране и в какой семье родиться. Но через семью к нему приходит сразу всё: государство, культура, вера, а заодно и та субкультура, к которой когда-то примкнули его родители.

Проводник

Семья — первое государство в жизни человека, но не самостоятельное. Она проводник. Через неё к ребёнку приходят законы и нравы той страны, где он родился, вера и обычаи народа, к которому принадлежат родители, и привычки той среды, где они сами выросли или которую выбрали. Ребёнок получает всё это раньше, чем научится говорить, и потому принимает за природу.

Французский социолог Пьер Бурдьё назвал этот усвоенный с детства набор привычек габитусом[2]. В книге «Различение» 1979 года он показал, что вкус — к музыке, еде, мебели, одежде — не личная прихоть, а знак происхождения. Вкус закладывается в семье задолго до того, как человек начинает осознанно выбирать. Взрослый, уверенный, что ему «просто нравится» определённый стиль, чаще всего повторяет выбор своего детства. Вкус, по Бурдьё, классифицирует самого классифицирующего: выбирая, человек выдаёт, откуда он родом.

Вспомним Богатырёва и его моравскую деревню. Девочку там одевали по правилам деревни ещё до того, как она могла что-то решать: её костюм с рождения говорил, чья она дочь, из какого села, какого достатка. Семья не изобретала эти правила. Она передавала их, как передают язык.

Первая одежда, которую семья выбирает за ребёнка, — это имя. И имя тоже может стать манифестом. В Англии XVI–XVII веков пуритане давали детям имена-наставления, напоминавшие о долге перед Богом. Самый известный их носитель — лондонский торговец кожей и проповедник Хвали-Бога Бэрбон (Praise-God Barebone), по фамилии которого назвали парламент 1653 года. Его сыну, будущему экономисту Николасу Барбону, по преданию, дали при крещении имя «Если-бы-Иисус-Христос-не-умер-за-тебя-ты-был-бы-проклят». Историк Чарльз Бардсли, собравший в XIX веке подобные имена по церковным книгам, нашёл в Суссексе людей по имени «Сражайся-добрым-боем-веры», «Беги-блуда», «Скорбящий-о-грехе»[3]. Родители, дававшие такие имена, говорили через ребёнка о своей вере и о своей принадлежности к общине — и одновременно отделяли его от «мирских» соседей.

В Северной Корее этот механизм работает и сегодня, причём в обратную сторону. В ноябре 2022 года Радио Свободная Азия сообщило: власти требуют менять «слишком мягкие» имена, оканчивающиеся на гласный, — такие как А Ри («любимая») или Су Ми («необык-

новенно красивая»)[4]. Такие имена всё чаще давали детям под влиянием южнокорейских сериалов, и власти объявили их «антисоциалистическими». Взамен рекомендовались имена с идейным, порой военным смыслом: Чхун Сим («верность»), Чхон Иль («ружьё»), Пхок Иль («бомба»), Ый Сон («спутник»). Весной 2025 года пришли новые сообщения: родителей обязывают давать детям имена, отражающие «революционный дух», а людям с именами, звучащими «по-южнокорейски», велят их менять[5].

Родители, назвавшие дочь «любимой», совершили маленький, почти невидимый эстетический бунт. Государство ответило так же, как отвечает на узкие брюки: потребовало переодеть, на этот раз имя.

Три голоса в одной прихожей

Проводник не всегда передаёт один сигнал. Чаще в семье звучат три голоса сразу: голос государства, голос культуры или веры и голос той субкультуры, к которой принадлежат сами родители. Иногда они согласны. Но очень часто они спорят, и ребёнок оказывается на линии этого спора.

Британский историк Орландо Файджес собрал сотни семейных историй сталинской эпохи и назвал свою книгу «Шепчущие»[6]. В семьях, где кто-то был арестован или где помнили о дореволюционном прошлом, детей учили жить на двух языках. Дома говорили одно, в школе — другое. Многие скрывали в анкетах «неправильное» происхождение, дворянское, священническое, кулацкое, а дома хранили о нём память. Ребёнку объясняли, что дома можно, а на улице нельзя. Так семья одновременно передавала государство — его язык, его правила игры — и защищала от него.

В Восточной Германии двойную жизнь вела почти каждая семья. Западное телевидение принимали на большей части страны, и вечерние новости ФРГ смотрели миллионы людей. Исключение составляли несколько районов, куда не доходил сигнал, их в шутку называли «долиной несведущих»[7]. Школа тем временем была обязана изображать ФРГ врагом, а жизнь на Западе — бедствием. Ребёнок вечером видел дома одну картину мира, а утром слушал на уроке другую. Абсурдность такого положения понимали и сами учителя. Семья и здесь передавала ребёнку государство с его официальным языком и одновременно открывала ему окно наружу.

Ещё сложнее положение ребёнка, чья семья переехала в другую страну. Дома говорят на одном языке, на улице — на другом. Дома одеваются и празднуют по одним правилам, в школе — по другим. Семья становится посольством оставленной страны, а ребёнок — её единственным дипломатом во внешнем мире. Девочки у французских школьных ворот — частный случай этого положения.

Наконец, семья передаёт не только большую культуру, но и малую: субкультуру родителей. Сын бывших хиппи растёт среди пластинок шестидесятых и свободных правил. Дочь музыкантов рок-клуба знает наизусть песни, которые её одноклассники никогда не слышали. Для ребёнка это не выбор и не бунт, а просто дом. Бунтом это было для родителей. И отсюда начинается одна из самых интересных коллизий, о которой речь пойдёт ниже: как взбунтоваться против родителей, которые сами были бунтарями.

Когда государство входит в детскую

Если семья — проводник, то власть всегда стремится сделать этот проводник надёжным. А там, где семья ненадёжна, власть пытается обойти её и обратиться к ребёнку напрямую.

Советская пропаганда создала для этого образцового героя. По официальной версии, в 1932 году тринадцатилетний пионер Павлик Морозов из уральской деревни Герасимовка донёс на отца, помогавшего «кулакам», и был за это убит родственниками. Мальчика объявили мучеником, его именем называли школы, пионерские отряды и улицы, ему ставили памятники. Позднее писатель Юрий Дружников, а затем британский историк Катриона Келли показали, что почти всё в этой истории либо искажено, либо выдумано[8]. Келли, получившая доступ к

архивам, не нашла даже текста самого доноса. Но для нашей темы важна не правда о Павлике, а сам миф. Государство предлагало ребёнку образец, в котором верность власти стоит выше верности отцу.

Нацистская Германия пошла тем же путём, только системнее. Закон 1936 года объявил гитлерюгенд воспитательной организацией наравне с семьёй и школой, а с 1939 года членство стало обязательным. Подростка одевали в униформу, учили песням и строю, приучали к мысли, что фюрер ему ближе родителей. Известны случаи, когда дети доносили на отцов и матерей за неосторожные слова.

Такая стратегия бьёт точно в одну ось Матрицы — «Привязанность». Государство стремится перехватить самую древнюю и самую сильную связь человека: связь ребёнка с родителем. Если это удаётся, униформа детской организации становится для ребёнка роднее домашней одежды, а гимн — роднее колыбельной.

Но и здесь проводник иногда сопротивляется. Семьи, учившие детей двойному языку, делали именно это: они не давали власти войти в детскую целиком. И парадоксальным образом именно в таких домах вырастали будущие стиляги, хиппи, рок-музыканты — дети, с ранних лет знавшие, что у правды бывает две версии.

Отцы и дети

Самый старый конфликт внутри семьи почти всегда связан с формой. В 1907 году английский критик Эдмунд Госс выпустил мемуары «Отец и сын»[9]. Его отец, известный натуралист Филип Генри Госс, принадлежал к строгой протестантской общине Плимутских братьев и считал Рождество языческим праздником. Однажды слуги тайком испекли рождественский пудинг, и восьмилетний Эдмунд попробовал кусочек. Потом, рыдая, вбежал к отцу в кабинет с признанием, что вкусил идоложертвенного. Отец схватил остатки пудинга, бегом вынес их во двор и швырнул в мусорную кучу. Сын запомнил это на всю жизнь. Весь его дальнейший путь — к поэзии, к театру, к светской литературе — был медленным уходом из отцовского мира.

Полвека спустя тот же конфликт вышел на экран. В фильме Николаса Рэя «Бунтарь без причины» 1955 года Джеймс Дин играет подростка Джима Старка, мечущегося между слабым отцом и властной матерью. Отец в одной из сцен появляется в кухонном фартуке с оборками, и сын смотрит на него с отчаянием. А сам Джим носит белую футболку, джинсы и ярко-красную куртку. Дин погиб в автокатастрофе за месяц до выхода фильма, и эта красная куртка стала одной из самых узнаваемых вещей в истории подросткового бунта.

В 1970 году американский антрополог Маргарет Мид, наблюдая молодёжные бунты шестидесятых, предложила различать три типа культур[10]. В постфигуративной культуре дети учатся у старших, и будущее повторяет прошлое. В кофигуративной — учатся главным образом у сверстников. А в префигуративной, которая, по мысли Мид, рождалась на её глазах, старшие вынуждены учиться у младших, потому что мир меняется быстрее, чем передаётся опыт. В такой культуре конфликт отцов и детей меняет знак: вчерашний бунт подростка оказывается завтрашней нормой для всех.

Ещё раньше, в 1928 году, немецкий социолог Карл Мангейм описал поколение как группу людей, переживших в юности одни и те же события[11]. Не возраст сам по себе делает поколение, а общий опыт, полученный в годы, когда взгляд на мир только складывается. Поэтому каждое поколение приходит в семью со своей эстетикой, и семья становится местом встречи двух эпох под одной крышей.

Семья, однако, не только поле боя. Иногда она оказывается союзником. В декабре 1965 года несколько школьников из американского города Де-Мойн пришли на занятия с чёрными нарукавными повязками в знак протеста против войны во Вьетнаме. Их отстранили от уроков. Семьи школьников подали в суд, и в 1969 году Верховный суд США в деле «Тинкер против школьного округа Де-Мойна» встал на сторону детей[12]. Суд признал повязку формой высказывания и постановил, что ученики, входя в школу, не теряют конституционного права

на свободу слова. Полоска чёрной ткани стала одной из самых известных деталей одежды в истории американского права.

Здесь видна та же логика, что и у школьных ворот во Франции, только с обратным исходом. Ребёнок, семья и государство спорят о куске ткани. И каждый понимает, что спорят они вовсе не о ткани.

Бунт наоборот

Как взбунтоваться против родителей, которые сами были бунтарями? Американское телевидение восьмидесятых ответило на этот вопрос комедией. В сериале «Семейные узы», шедшем на канале NBC с 1982 по 1989 год, бывшие хиппи Стивен и Элиз Китон растят детей в уютном либеральном доме. А их старший сын Алекс, которого играл Майкл Дж. Фокс, носит костюм и галстук, читает деловую прессу, восхищается Рейганом и мечтает о карьере финансиста. Чтобы отличаться от родителей с их джинсами и гитарой, ему пришлось стать консерватором.

Комедия держалась на простом наблюдении, знакомом любому семейному психотерапевту. Бунт определяется не содержанием, а направлением. Подросток отталкивается от той нормы, которую видит дома, какой бы она ни была. В строгой семье бунтом станут рваные джинсы. В семье бывших панков бунтом может стать безупречная рубашка.

Особенно отчётливо это видно там, где норма дома сильна и видима. В Израиле есть понятие «йоцим бе-шеэла» — «вышедшие с вопросом». Так называют людей, оставивших ультраортодоксальную общину. Организация «Гилель», основанная в 1991 году, помогает им обустроиться в светском мире. По словам её руководителя в репортаже «Голоса Америки», за год, предшествовавший интервью, общину покинули около трёх тысяч молодых людей[13]. Многие из них после ухода фактически теряют связь с семьёй.

И вот что показательно: одним из первых знаков перемены оказывается одежда. Ультраортодоксальная община узнаётся по костюму издалека: чёрные пиджаки и шляпы мужчин, закрытые платья женщин, пейсы, головные уборы. Уйти из общины значит прежде всего переодеться. В центрах «Гилеля» для новичков держат вешалки со светской одеждой[14]. Журналисты, писавшие о таких молодых людях, рассказывают и обратные детали: человек, выросший в общине, мог никогда в жизни не покупать себе одежду сам. А попав в свой прежний квартал, иной из ушедших снова надевает кипу, словно всё ещё боится, что его выгонят[15].

Существует и движение в противоположную сторону. «Хозрим бе-тшува», «возвращающиеся с покаянием», — светские израильтяне, приходящие к ортодоксальному образу жизни. Для подростка из светской семьи чёрная шляпа может быть таким же вызовом родителям, как для ребёнка из общины — джинсы. Направление снова важнее содержания.

Для Матрицы это наблюдение принципиально. Бунт нельзя определить по внешнему виду, не зная, от какой нормы он отталкивается. Чтобы понять отклонение, нужно сначала понять дом, из которого человек вышел.

Принц в изгнании

До сих пор мы говорили о семье, которая передаёт ребёнку нормы своей страны. Но что происходит, когда семья переезжает в другую страну, а нормы остаются прежними?

Миграция — одно из самых тяжёлых испытаний для психики взрослого человека. Испанский психиатр Хосеба Ашотеги описал хронический стресс мигранта, назвав его «синдромом Улисса»: одиночество вдали от близких, борьба за выживание, страх, ощущение провала[16]. Американский психоаналитик Салман Ахтар писал о ностальгии иммигранта, о том, как человек идеализирует покинутую родину, защищаясь от боли настоящего[17]. Но в моей клинической практике я раз за разом встречаю ещё один вариант этой боли. Я называю его синдромом «принца в изгнании».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.